

III.10. Антигуманность, возведённая в принцип

В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму, и друг к другу: акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма. Лозунгом первого из этих направлений был человек — но какой-то уже другой человек, вовсе без человечности, какой-то «первозданный» Адам.

А. Блок. Возмездие. Предисловие

И у Гумилёва, и у Розенберга есть одна крайне тревожная черта — принципиальная антигуманность. Причём, если у Розенберга она вытекает лишь из его общей культуралистской установки (раса важнее личности), то у Гумилёва подкрепляется и системными соображениями (отдельный человек — часть этнической системы и существует только благодаря ей).

Э. С. Кульпин (не забудем — продолжатель Гумилёва, хотя и не во всех отношениях) составил «пирамиды ценностей» европейской и дальневосточной цивилизаций (Кульпин 1995). По его мнению, для европейца высшая ценность — личность, и всё остальное, включая общество, ценится лишь постольку, поскольку обслуживает эту высшую ценность. Однако именно это для Розенберга — вредная иллюзия и даже «Volks-Krankheit durch "Humanität"» — «социальная болезнь, происходящая от "гуманности"» (Rosenberg 1934: 169). Любовь к одиночке («Единственному» по С. Кьеркегору), по его мнению, — высшая ценность католицизма. Больше того, её переняло и масонство: «Новое учение о гуманности было "религией" масонов» (: 200). Всё это — проявления «этрusco-пеласгийско-сирийского духа» (: 158), несовместимого с арийским:

«Римская церковь и масонская контрцерковь едины в сносе всех барьеров, воздвигнутых духовным и физическим гештальтом. Обе они зовут свою свиту во имя любви и соответственно гуманности, во имя безграничного универсализма. Церковь требует только полного подчинения, подчинения в пределах её области (которая должна быть, конечно, всей землёй), в то время как контрцерковь проповедует повальное уничтожение границ, а мерилom своего приговора делает горе и радость одиночки, "человека", что нужно считать причиной сегодняшнего положения, при котором неприкрытое богатство индивидуума стало наивысшим благом демократии и получает при ней наивысшее значение в общественной жизни» (Rosenberg 1934: 201—202).

Не обходится и без шаблонных обвинений католической церкви в лицемерии: «Еще раз: требовали любви и упражнялись в ней только приверженцы и низшие ступени римской системы; руководство нуждалось в том, чтобы быть устойчивым и сильным, ему нужны были блеск, мощь, власть над душами и телами людей» (Rosenberg 1934: 168).

Л. Н. Гумилёв не распространяется на эту скользкую тему чрезмерно. Но и он поминает, например, первого танского императора «...Лю Юаня, который, увлечшись гуманистическими иллюзиями, не ведал, что творил» (Гумилёв 1974: 106). Здесь заметен отпечаток советского понятия «абстрактного гуманизма», не учитывающего классовую (вариант — социальной, этнической, расовой и т. п.) сути того человека, к которому он обращён. Впрочем, эта сторона взглядов Л. Н. Гумилёва станет яснее дальше (III.17—18).

Советская система вообще не знала гуманизма в духе Толстого — обращённого на любого «униженного и оскорблённого» человека, без разбору, кто он такой.

Его место занимало «человеколюбие» (仁 *жэнь*) в духе Конфуция: покровительство «правильным типам», не исключающее жестокости по отношению к тем, кто отклонился от этой «правильности». И система идей, противостоявшая советской, восприняла эту установку. В данном случае Гумилёв оказался не на высоте положения: он принял правила игры противника вместо того, чтобы установить свои. Но кто его вправе осудить за это? Напомню ещё раз: наш вопрос — идеи, а не личность автора.

Ни О. Шпенглер, ни А. Дж. Тойнби в этом отношении не следуют за названными авторами. Шпенглер готов пожертвовать теми, кто питает надежды, несбыточные в эпоху «закатывающейся жизни»: «Правда, для некоторых может кончиться трагически, если в решающие годы ими овладеет уверенность, что в сфере архитектуры, драмы, живописи им нечего уже покорять. Пусть же такие погибнут» (Шпенглер 1993: 175). Такое суждение естественно вытекает из крайнего культурализма, для которого человек — лишь воплощение культурного духа, клеточка «организма высшего порядка». Но теоретически он нигде гуманизма не отрицает.

Для Тойнби же умеренный культурализм и гуманизм смыкаются: «Если эллинскому обществу удалось избежать судьбы Крита или Спарты, то это произошло потому, что гуманистический, прогрессивный, цивилизующий этос мифического Прометей взял верх над косным и грубым этосом Зевса» (Тойнби 1991: 211). Более того, именно в насилии над человеческой личностью, в её принудительной нивелировке он видит причину того тупика, в который попали «задержанные цивилизации»:

«Насильственно сковывая человеческий разум, низводя функции человека к искусственно выработанной сумме навыков и умений, эскимосы, кочевники, османы и спартанцы предали свою человеческую сущность. Они встали на порочный путь, ведущий от гуманизма к анимализму, — путь, обратный тому, что проделало Человечество, стимулированное величайшими творческими актами живой истории Вселенной. Подобно жене Лота, они совершили непростительный грех и этим навлекли на себя библейское наказание. Соляными столпами стоят они, заколдованные, задержанные в своём развитии навсегда, остановленные на самой заре своего странствия по жизни, как страшное предупреждение другим цивилизациям» (Тойнби 1991: 208).

Позиция кн. Трубецкого в этом вопросе двойственна. Об обывателях, чаще всего встречающихся почему-то среди оседлых народов, у него сказано прямо: «Такие люди — натуры низменные, подлые, по существу рабские; Чингисхан презирал их и беспощадно уничтожал» (Трубецкой 2007 {1926}: 299—300). И это при том, что в целом оценка личности Чингисхана у него — наивысшая.

В «Ура Линде» внутри своего круга антигуманности нет. Главная кара за моральную низость здесь — изгнание. Но гуманность не распространяется на «хорнинггов» (бастардов), за некоторые преступления их можно даже сжигать (Вирт 2007: 117).